

В.С. Гроссман

Все течёт

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Г88

Г88

Гроссман В.С.

Все течёт / В.С. Гроссман – М.: Книга по Требованию, 2021. – 117 с.

ISBN 978-5-458-03350-3

Повесть «Все течет...» увидела свет сначала в Германии в 1970 году, а спустя 19 лет – в СССР. «Все течет...» – история человека, проведшего в ГУЛАГе 30 лет. Повесть эту Гроссман в 1963 году, незадолго до смерти, переработал и дописал. В ней он отразил свои раздумья о судьбе России, о том, что корни ее несчастий не в ленинско-сталинских изуверствах, а гораздо глубже – в русском рабстве, которое причудливым образом переплелось с идеями прогресса и революции.

ISBN 978-5-458-03350-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© В.С. Гроссман, 2021

Василий Гроссман
Все течёт

В Москву хабаровский поезд приходил к девяти часам утра. Молодой человек в пижаме почесал вихрастую голову и поглядел в окно на осенний утренний полусумрак. Зевая, он обратился к людям с полотенцами и мыльницами, стоявшим в проходе:

— Граждане, кто тут у нас крайний?

Ему объяснили, что за дядей, державшим искореженный тюбик зубной пасты и кусок мыла, облепленный газетной бумагой, заняла очередь полная гражданина.

— Почему только одна уборная открыта? — проговорил молодой человек.

— Ведь приближаемся к конечному пункту — столице, а проводники только товарооборотом заняты, по-культурному обслужить пассажира у них времени не хватает.

Через несколько минут появилась толстая женщина в халате, и молодой человек сказал ей:

— Гражданка, я за вами, а пока пойду к себе, чтобы в проходе не болтаться.

В купе молодой человек раскрыл оранжевый чемодан и залюбовался своими вещами.

Из его соседей — один, со вздутым широким затылком, храпел, второй — румяный, лысый и молодой, разбирал бумаги в портфеле, а третий, худой старик, сидел, подперев голову коричневыми кулаками, и смотрел в окно. Молодой человек спросил румяного спутника:

— Вы читать больше не будете? Надо книжонку уложить в чемодан.

Ему хотелось, чтобы сосед полюбовался чемоданом. Тут были вискозные сорочки, и «Краткий философский словарь», и плавки, и защитные от солнца очки в белой оправе. Прикрыты мелкокалиберной районной газетой с краю лежали серые коржики домашнего, деревенского печения.

Сосед ответил:

— Прошу, я эту книгу, «Евгения Гранде», уже читал в прошлом году в санатории.

— Сильная вещичка, ничего не скажешь, — проговорил молодой человек и уложил книгу в чемодан.

В дороге они играли в преферанс, а выпивая и закусывая, разговаривали о кинокартинах, пластинах, мебельных гарнитурах, сочинских санаториях, о социалистическом земледелии, спорили, чье нападение лучше — «Спартака» или «Динамо»...

Румяный, лысый работал в областном городе инструктором ВЦСПС, а вихрастый возвращался после отпуска, проведенного в деревне, в Москву, где он состоял экономистом в Госплане РСФСР.

Третий спутник, сибирский прораб, храпевший сейчас на нижней полке, не нравился им своею некультурностью: он матерился, рыгал после еды, а узнав, что попутчик работает в Госплане по части экономических наук, спросил:

— Политическая экономия, как же, это про то, как колхозники ездят из деревни в город хлеб у рабочих покупать.

Как-то он сильно выпил в буфете на узловой станции, куда, как он говорил, бегал отмечаться, и долго не давал своим спутникам уснуть, все шумел:

— По закону в нашем деле ничего не добьешься, а если хочешь дать план, надо работать, как жизнь требует: «Я тебе дам, и ты мне дай». При царе это называлось — частная инициатива, а по-нашему: дай человеку жить, он жить хочет; вот это экономика! У меня арматурщики целый квартал, пока новый кредит пришел, расписывались заместо нянек в яслях. Закон против жизни идет, а жизнь требует! Дал план, на тебе надбавку и премию, но, между прочим, и десять лет могут припаять. Закон против жизни, а жизнь против закона.

Молодые люди молчали, а когда прораб притих, вернее, не притих, а, наоборот, стал громко хранить, они осудили его:

— К таким тоже следует присматриваться. Под маской братишки.

— Деляга. Беспринципный. Вроде какого-то Абраши.

Их сердило, что этот грубый, с глубинки человек относился к ним презрительно.

— У меня на стройке заключенные работают, они таких, как вы, приурочками называют, а придет время и станут разбираться, кто коммунизм построил, окажется, вы пахали, — сказал им как-то прораб и пошел в соседнее купе играть в подкидного.

Четвертый спутник, видимо, нечасто ездил в плацкартном вагоне. Он большей частью сидел, положив ладони на колени, словно прикрывая заплаты на штанах. Рукава его черной сатиновой рубахи кончались где-то между локтями и кистями рук, а белые пуговки на вороте и на груди придавали ей вид детской, мальчиковой. Что-то смешное и трогательное бывает в этом соединении белых детских пуговиц на одежде с седыми висками, взглядом стариковских, измученных глаз.

Когда прораб сказал привычным к команде голосом:

— Папаша, пересядь от столика, я сейчас чай пить буду, — старик посолдатски вскочил и вышел в коридор.

В его деревянном чемодане с облупившейся краской рядом с застиранным бельем лежала буханка крошащегося хлеба. Курил он махорку и, свернув папироску, шел дымить в тамбур, чтобы скверный дым не тревожил соседей.

Иногда спутники угождали его колбаской, а прораб как-то преподнес ему крутое яичко и стопочку московской.

Говорили ему «ты» даже те, кто был вдвое моложе его, а прораб все подшучивал, что «папаша» выдаст себя в столице за холостого и женится на молодой.

Как-то в купе зашел разговор о колхозах, и молодой экономист стал осуждать сельских лодырей.

— Я теперь убедился своими глазами, собирается возле правления и почесываются. Пока председатель и бригадиры погонят на работу, десятью потами оболются. А колхознички жалуются, что им на трудодень при Сталине вовсе не платили и что теперь еле-еле получают.

Профсоюзный инспектор, задумчиво тася колоду карт, поддержал его:

— За что ж им, друзьям, платить, если они поставок не выполняют. Их надо воспитывать, вот. — И он покачал в воздухе большим крестьянским, отвыкшим от работы белым кулаком.

Прораб погладил себя по толстой груди с просалеными орденскими ленточками:

— Мы на фронте с хлебом были, накормил нас русский народ. И никто его не воспитывал.

— Вот правильно, — сказал экономист. — Все же главное в том, что мы русские люди. Шутка ли: русский человек!

Инспектор, улыбаясь, подмигнул своему дорожному приятелю: то, что называется: русский — старший брат, первый среди равных!

— Оттого и зло берет, — проговорил молодой экономист, — ведь русские же люди! Не нацмены. Ко мне один разогнался: «Липовый лист пять лет ели, с сорок седьмого года на трудодень не получали». А работать не любят. Не хотят понять — теперь все от народа зависят.

Он оглянулся на седого мужика, молча слушавшего разговор, и сказал:

— Ты, папаша, не сердись. Не выполняете вы трудового долга, а государство к вам лицом повернулось.

— Куда им, — сказал прораб. — Сознательности никакой, каждый день кушать хотят.

Разговор этот ничем не кончился, как и большинство вагонных и невагонных разговоров. В купе заглянул, блестя золотыми зубами, майор авиации и с укором сказал молодым людям:

— Что же это вы, товарищи? А работать кто будет?

И они пошли к соседям доигрывать пульку. Но вот и прошла огромная дорога... Пассажиры убирают в чемоданы тапочки, выкладывают на столики куски зачерствелого хлеба, обглоданные до голубизны куриные кости, куски побледневшей, окутанной шкурками колбасы.

Вот уже прошли хмурые проводницы, собиравшие мятые постельные принадлежности.

Скоро рассыплется вагонный мир. Забудутся шутки, лица, и смех, и судьба, случайно рассказанная, и случайно высказанная боль.

Все ближе огромный город, столица великого государства. И уж нет дорожных мыслей и тревог. Забыты беседы с соседкой в тамбуре, где перед глазами за мутными стеклами проносится великая русская равнина, а за спиной тяжело екает в резервуарах вода.

Тает возникший на несколько дней тесный вагонный мир, равный законами всем иным, созданным людьми мирам, прямолинейно и криволинейно движущимся в пространстве и времени.

Велика сила огромного города. Она заставляет сжиматься и беспечные сердца тех, кто едет в столицу гостить, рыскать по магазинам, сходить в зоопарк, планетарий. Всякий, попавший в силовое поле, где напряглись невидимые линии живой энергии мирового города, вдруг испытывает смятение, томление.

Экономист едва не пропустил очереди в уборную. Сейчас, причесываясь, он прошел на свое место и оглядел соседей.

Прораб дрожащими пальцами (немало было пито в дороге) перекладывал сметные листы.

Профсоюзный инспектор уже надел пиджак, притих, оробел, попав в силовое поле людского смятения, — что-то скажет ему желчная седая баба, ведающая инспекторами ВЦСПС.

Поезд проносится мимо бревенчатых деревенских домиков и кирпичных заводов, мимо оловянных капустных полей, мимо станционных платформ с серыми асфальтовыми лужами от ночного дождя.

На платформах стоят угрюмые подмосковные люди в пластмассовых плащах,

надетых поверх пальто. Под серыми тучами провисают провода высоковольтных передач. На запасных путях стоят серые, зловещие вагоны: «Станция Бойня, Окружной дороги».

А поезд грохочет и мчится с какой-то злорадной, все нарастающей скоростью. Скорость эта сплющивает, раскалывает пространство и время.

Старик сидел у столика, смотрел в окно, подперев кулаками виски. Много лет назад юноша с лохматой, плохо расчесанной шевелюрой сидел вот так же у окна вагона третьего класса. И хотя исчезли люди, ехавшие вместе с ним в вагоне, забылись их лица, речи, в седой голове вновь ожило то, что, казалось, уж не существовало вовсе.

А поезд уже вошел в зеленый подмосковный пояс. Серый рваный дым цеплялся за ветви елей, прижатый токами воздуха, струился над дачными заборами. Как знакомы эти силуэты суровых северных елей, как странно выглядят рядом с ними голубой штакетничек, остроконечные дачные крыши, разноцветные стекла террас, клумбы, засаженные георгинами.

И человек, который за три долгих десятилетия ни разу не вспомнил что на свете существуют кусты сирени, анютины глазки, садовые дорожки, посыпанные песком, тележки с газированной водой, — ахнул убедившись еще раз, по-новому, что жизнь и без него шла, продолжалась.

2

Прочтя телеграмму, Николай Андреевич пожалел о чаевых, данных почтальону,— телеграмма, очевидно, предназначалась не ему, и вдруг он вспомнил, ахнул: телеграмма была от двоюродного брата Ивана.

— Маша! Маша! — позвал он жену.

Мария Павловна, взяв телеграмму, проговорила:

— Ты ведь знаешь, я без очков совершенно слепая, дай-ка мне очки. Вряд ли его пропишут в Москве, — сказала она.

— Ах, да оставь о прописке.

Он провел ладонью по бровям и сказал:

— Подумать, приедет Ваня и застанет одни могилы, одни могилы.

Мария Павловна задумчиво сказала:

— Как неудобно получается с Соколовыми. Подарок-то мы пошлем, но все равно нехорошо, ему ведь пятьдесят лет, особая дата.

— Ничего, я объясню.

— И с юбилейного обеда пойдет новость по всей Москве, что Иван вернулся и с вокзала прямо к тебе.

Николай Андреевич потряс перед ней телеграммой:

— Да ты понимаешь, кто такой Ваня для моей души?

Он сердился на жену: ерунда, с которой обращалась к нему Мария Павловна, возникла в его сознании еще до того, как жена заговорила с ним. Так не раз уж случалось. Оттого-то он вспыхивал, видя свои слабости в ней, но не понимал, что негодует не об ее несовершенствах, а о своих собственных. А отходил он в спорах с женой так легко и быстро потому, что любил себя; прощая ей, он прощал себя.

Сейчас и ему упорно лезла в голову глупая мысль о пятидесятилетии Соколова. И потому, что его потрясло известие о приезде двоюродного брата и его собственная жизнь, полная правды и неправды, встала перед ним, — ему стыдно было жалеть о парадном ужине у Соколовых, о симпатичном соколовском фланкене с водкой.

Он стыдился убогости своих соображений, — ведь и у него мелькнула мысль, что придется маяться с пропиской Ивана, мысль, что всей Москве станет известно о возвращении Ивана и событие это как-то да отзовется на его шансах при выборах в Академию...

А Мария Павловна продолжала мучить Николая Андреевича тем, что случайные и мнимые — не ставшие действительными — его мысли высказывала вслух, доводила до дневной очевидности.

— Странная ты, — проговорил он. — Мне кажется, было бы приятней полечить эту телеграмму, когда тебя нет дома.

Слова эти были обидны для нее, но она знала, что Николай Андреевич сейчас обнимет ее и скажет: «Маша, Маша, вместе будем радоваться, с кем же, как не с тобой!»

И действительно так — а она стояла с выражением терпеливым и неприятным, означавшим: «От твоих ласковых слов удовольствия мне никакого нет, но я потерплю».

А уже после этого глаза их встретились, и чувство любви исправило все злое.

Двадцать восемь лет, не разлучаясь, прожили они, — трудно понять и разобраться, каковы отношения людей, проживших почти третью века вместе.

Теперь, седая, она подходила к окну, глядела, как он, седой, садился в автомобиль. А когда-то они обедали в столовке на Бронной.

— Коля, — тихо сказала Мария Павловна, — ведь Иван никогда не видел нашего Валю. Его посадили, Вали еще не было на свете, а теперь, когда он возвращается, Валя уже восемь лет в могиле.

И эта мысль поразила ее.

3

Николай Андреевич, ожидая двоюродного брата, думал о своей жизни и готовился покаяться в ней Ивану. Он представлял себе как будет показывать Ивану дом. Вот в столовой текинский ковер, черт, посмотри, красиво ведь? У Маши хороший вкус, не секрет от Ивана, кем был ее отец а в старом Петербурге, слава богу, понимали толк в жизни.

Как говорить с Иваном? Ведь прошли десятилетия, жизнь прошла. Нет, о том и будет разговор, — не прошла жизнь! Только теперь начинается она!

Да, это будет встреча! Иван приезжает в удивительное время, сколько после смерти Сталина перемен. Они коснулись всех. И рабочих, и крестьян. Ведь хлеб появился! И вот Иван вернулся из лагеря. И не он один. И в жизни Николая Андреевича произошел многое определивший перелом.

Со студенческих лет Николай Андреевич испытывал на себе тяжесть неудачливости. Эта тяжесть была особенно мучительна тем, что казалась ему несправедливой. Он был образован, много работал, считался остроумным рассказчиком, в него влюблялись женщины.

Он гордился званием честного, принципиального человека, но вообще-то был чужд постному лицемерию, любил веселые анекдоты за ужином, отлично разбирался в сложной нумерации сухих вин и часто, пренебрегая вином, переходил на водку.

Когда знакомые хвалили характер Николая Андреевича, Мария Павловна, глядя на мужа веселыми, сердитыми глазами, говорила:

— Пожили бы с ним под одной крышей, вы бы узнали чудного Коленъку: деспот, псих, а эгоист такой, какого свет не видел.

Порой они невыносимо раздражали друг друга знанием всех слабостей, всех недостатков своих. Иногда даже казалось, что легче разойтись. Но это только казалось, видимо, жить друг без друга они не могли или, живя порознь, сильно страдали бы.

Мария Павловна влюбилась в Николая Андреевича еще школьницей, его голос, его большой лоб, большие зубы, его улыбка, — все, казавшееся тридцать лет назад удивительным и прекрасным, с годами становилось для нее все милее.

И он любил ее, но его любовь менялась, и то, что в их отношениях было когда-то главным, теперь отошло, а то, казавшееся не самым значительным, заняло главное место.

Мария Павловна была когда-то хороша — высокая, темноглазая. И теперь ее движения отличались легкостью, а глаза не теряли молодой прелести. Но и в молодости, а теперь особенно, прелесть ее лица портила улыбка, — при улыбке открывались большие, выдающиеся вперед нижние зубы.

Николай Андреевич со студенческих лет болезненно ощущал свою неудачливость. Не его тщательно подготовленные доклады, а торопливые сообщения рыжего Радионова либо пьянички Пыжова вызывали волнение участников студенческих семинаров...

Николай Андреевич стал старшим научным сотрудником в знаменитом научно-исследовательском институте, напечатал десятки работ, защитил докторскую диссертацию. Но только жена знала, какие терзания и унижения переживал

Николай Андреевич.

Несколько человек, из которых один был академиком, двое занимали положение худшее, чем Николай Андреевич, а один даже не защитил кандидатской степени, были главной живой силой его науки. Эти люди ценили Николая Андреевича как собеседника, уважали его порядочность, но искренне, совершенно добродушно не считали его ученым.

Он постоянно ощущал атмосферу напряженности и восхищения, которая сопутствовала этим людям, особенно хромому Мандельштаму.

Однажды лондонский научный журнал написал о Мандельштаме: «Великий продолжатель дела создателей современной биологии». Когда Николай Андреевич прочел эту фразу, ему показалось: прочесть о себе такие слова и умереть от счастья.

Мандельштам вел себя нехорошо, — то он бывал угрюм и подавлен, то надменно объяснялся учительским тоном; выпив в гостях, он начинал осмеивать знакомых ученых, называл их бездарностями, а некоторых аферистами и жучками. Эта его черта очень раздражала Николая Андреевича, — ведь ругал Мандельштам тех, с кем дружил и у кого бывал дома. И Николай Андреевич думал, что, вероятно, где-нибудь в другом доме, сидя в гостях, Мандельштам именует и Николая Андреевича жучком и бездарностью.

Раздражала его и жена Мандельштама — толстая, когда-то бывшая красивой женщина, любившая, казалось, лишь азартные карточные игры да научную славу своего хромого мужа.

И в то же время он тянулся к Мандельштаму, говорил, что таким, особенным, людям нелегко бывает в жизни.

Но когда Мандельштам снисходительно поучал Николая Андреевича, тот злился, страдал и ругал, прия домой, Мандельштама высокочкой.

Мария Павловна считала своего мужа человеком большого таланта. Николай Андреевич рассказывал ей о снисходительном безразличии корифеев к его работам, и все яростней становилась ее вера в него. Ее восхищение, ее вера были необходимы ему как водка пьянице. Они считали, что есть люди, которым везет, и есть такие, которым не везет, а в общем-то все одинаковы. Вот Мандельштам отмечен особым везением, какой-то Вениамин Счастливый в биологической науке, а Радионов подобно оперному тенору окружен поклонниками, правда, сходства с оперным тенором у курносого, скучающего Радионова не было никакого. Казалось, и Исааку Хавкину везет, хотя Хавкину не утвердили кандидатской степени, в научные институты его по подозрению в витализме не брали даже в самые тихие времена, и он, уже седой человек, работал в районной санитарно-бактериологической лаборатории, ходил в порванных брюках. Но вот к нему ездят толковать академики, и он в жалкой лаборатории ведет научную работу, о которой многие говорят и спорят.

Когда началась кампания по борьбе с вейсманитами, вирховианцами, менделистами — Николай Андреевич был огорчен суворостью мер, принятых против многих его товарищей по работе. И он, и Мария Павловна расстроились, когда Радионов не пожелал признать свои ошибки. Радионова уволили, и Николай Андреевич, ругая его за бессмысленное донкихотство, устраивал ему переводы с английского.

Пыжова обвинили в низкопоклонстве перед Западом, отправили работать в